

ПАТРИК ЗЮСКИНД

ПАРФЮМЕР



МОСКВА

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Шва)-44
3-98

Серия «Эксклюзивная классика»

Patrick Suskind

DAS PARFUM

Copyright © 1985 by Diogenes Verlag AG Zurich,
Switzerland
All rights reserved

Перевод с немецкого Э. Венгеровой

Серийное оформление А. Фереца, Е. Фереца

Дизайн обложки В. Пипия

Издание подготовлено при участии
издательства «АСТ»

Зюскинд, Патрик.

3-89 Парфюмер. История одного убийцы : [роман] / Патрик Зюскинд ; [перевод с немецкого Э. Венгеровой]. — СПб.: Азбука, Издательство Азбука, 2026. — 352 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-187902-0 (АСТ)

ISBN 978-5-389-33909-5 (Азбука)

Франция, XVIII век. В самом сердце Парижа, среди смрада рыбных рядов и нечистот, рождается Жан-Батист Гренуй — человек с феноменальным даром обоняния. Гренуй растет, учится и постепенно осознает свою уникальную способность: он различает мельчайшие оттенки ароматов и понимает их власть над людьми. Для него запахи — не просто ощущения, а язык, с помощью которого можно управлять эмоциями, внушать любовь и обожание. Но какой ценой будет получен последний, идеальный аромат?..

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Шва)-44

© Э.В. Венгеровой, перевод, 1999

© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА»,
2026 Издательство Азбука ®

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2026

Часть первая

1

В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными фигурами. О нем и пойдет речь. Его звали Жан-Батист Гренуй, и если это имя, в отличие от имен других гениальных чудовищ вроде де Сада, Сен-Жюста, Фуше, Бонапарта и так далее, ныне предано забвению, то отнюдь не потому, что Гренуй уступал знаменитым исчадиям тьмы в высокомерии, презрении к людям, аморальности, короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивались сферой, не оставляющей следов в истории, — летучим царством запахов.

В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни — скверным углем и бараньим салом; непроветренные гостиные воняли слежавшейся

пылью, спальни — грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилен — едкими щелочами, со скотобоев — выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестираным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов — луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром, и кислым молоком, и болезненными опухольями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король — он вонял, как хищный зверь, а королева — как старая коза, зимой и летом. Ибо в восемнадцатом столетии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерий, а потому всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождалось вонью.

И разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции. А в самом Париже было такое место между улицами О-Фер и Ферронри под названием кладбище Невинных, где стояла совсем уж адская вонь. Восемьсот лет подряд сюда доставляли покойников из Отель-Дьё и близлежащих приходов, восемьсот лет подряд сюда на тачках дюжинами

свозили трупы и вываливали в длинные ямы, восемьсот лет подряд их укладывали слоями, скелетик к скелетику, в семейные склепы и братские могилы. И лишь позже, накануне Французской революции, после того как некоторые из могил угрожающе обвалились и вонь переполненного кладбища побудила жителей предместья не только к протестам, но и к настоящим бунтам, кладбище было наконец закрыто и разорено, миллионы костей и черепов сброшены в катакомбы Монмартра, а на этом месте сооружен рынок.

И вот здесь, в самом вонючем месте всего королевства, 17 июля 1738 года был произведен на свет Жан-Батист Гренуй. Это произошло в один из самых жарких дней года. Жара как свинец лежала над кладбищем, выдавливая в соседние переулки чад разложения, пропахший смесью гнилых арбузов и жженого рога. Мать Гренуя, когда начались схватки, стояла у рыбной лавки на улице О-Фер и чистила белянок, которых перед этим вынула из ведра. Рыба, якобы только утром выуженная из Сены, воняла уже так сильно, что ее запах перекрывал запах трупов. Однако мать Гренуя не воспринимала ни рыбного, ни трупного запаха, так как ее обоняние было в высшей степени нечувствительно к запахам, а кроме того, у нее болело нутро, и боль убивала всякую чувствительность к раздражителям извне. Ей хотелось одного — чтобы эта боль прекратилась и омерзительные

роды как можно быстрее остались позади. Рожала она в пятый раз. Со всеми предыдущими она справилась здесь, у рыбной лавки, все дети родились мертвыми или полумертвыми, ибо кровавая плоть, вылезавшая тогда из нее, не намного отличалась от рыбных потрохов, уже лежавших перед ней, да и жила не намного дольше, и вечером все вместе сгребали лопатой и увозили на тачке к кладбищу или вниз к реке. Так должно было произойти и сегодня, и мать Гренуя, которая была еще молода (ей как раз исполнилось двадцать пять), и еще довольно миловидна, и еще сохранила почти все зубы во рту и еще немного волос на голове, и, кроме подагры, и сифилиса, и легких головокружений, ничем серьезным не болела, и еще надеялась жить долго, может быть пять или десять лет, и, может быть, даже когда-нибудь выйти замуж и родить настоящих детей в качестве уважаемой супруги овдовевшего ремесленника... мать Гренуя желала от всей души, чтобы все поскорее кончилось. И когда схватки усилились, она забралась под свой разделочный стол и родила там, где рожала уже четыре раза, и отрезала новорожденное создание от пуповины рыбным ножом. Но потом из-за жары и вони, которую она воспринимала не как таковую, а только как нечто невыносимое, оглушающее, разящее — как поле лилий или как тесную комнату, в которой стоит слишком много нарциссов, — она потеряла со-

знание, опрокинулась на бок, вывалилась из-под стола на середину улицы и осталась лежать там с ножом в руке.

Крик, суматоха, толпа зевак окружает тело, приводят полицию. Женщина с ножом в руке все еще лежит на улице, медленно приходя в себя.

Спрашивают, что с ней.

— Ничего.

Что она делает ножом?

— Ничего.

Откуда кровь на ее юбках?

— Рыбная.

Она встает, отбрасывает нож и уходит, чтобы вымыться.

И тут, против ожидания, младенец под разделочным столом начинает орать. Люди оборачиваются на крик, обнаруживают под роєм мух между требухой и отрезанными рыбными головами новорожденное дитя и вытаскивают его на свет Божий. Полиция отдает ребенка некой кормилице, а мать берут под стражу. И так как она ничего не отрицает и без лишних слов признает, что собиралась бросить ублюдка подышать с голоду, как она, впрочем, проделывала уже четыре раза, ее отдают под суд, признают виновной в многократном детоубийстве и через несколько недель казнят на Гревской площади.

Ребенок к этому моменту перешел уже к третьей кормилице. Ни одна не соглашалась держать

его у себя дольше нескольких дней. Они говорили, что он слишком жадный, что сосет за двоих и тем самым лишает молока других грудных детей, а их, мамок, — средств к существованию: ведь кормить одного-единственного младенца невыгодно. Офицер полиции, в чьи обязанности входило пристраивать подкидышей и сирот, некий Лафосс, скоро потерял терпение и решил было отнести ребенка в приют на улице Сент-Антуан, откуда ежедневно отправляли детей в Руан, в государственный приемник для подкидышей. Но поскольку транспортировка осуществлялась пешими носильщиками и детей переносили в лыковых коробах, куда из соображений экономии сажали сразу четырех младенцев; поскольку из-за этого чрезвычайно возрастал процент смертности; поскольку носильщики по этой причине соглашались брать только крещеных младенцев и только с выправленным по форме путевым листом, на коем в Руане им должны были поставить печать; и поскольку младенец Гренуй не получил ни крещения, ни имени, каковое можно было бы по всей форме занести в путевой лист; и поскольку, далее, со стороны полиции было бы неприлично высадить безымянного младенца у дверей сборного пункта, что было бы единственным способом избавиться от прочих формальностей... поскольку, стало быть, возник ряд трудностей бюрократического характера, связанных с эвакуа-

ацией младенца, и поскольку, кроме того, время поджимало, офицер полиции Лафосс отказался от первоначального решения и дал указание сдать мальчика под расписку в какое-нибудь церковное учреждение, чтобы там его окрестили и определили его дальнейшую судьбу. Его сдали в монастырь Сен-Мерри на улице Сен-Мартен.

Он получил при крещении имя Жан-Батист. И так как приор в тот день пребывал в хорошем настроении и его благотворительные фонды не были до конца исчерпаны, ребенка не отправили в Руан, но постановили воспитать за счет монастыря. С этой целью его передали кормилице по имени Жанна Бюсси, проживавшей на улице Сен-Дени, которой для начала в качестве платы за услуги предложили три франка в неделю.

2

Несколько недель спустя кормилица Жанна Бюсси с плетеной корзиной в руках явилась к воротам монастыря и заявила открывшему ей отцу Террье — лысому, слегка пахнущему уксусом монаху лет пятидесяти: «Вот!» — и поставила на порог корзину.

— Что это? — сказал Террье и, наклонившись над корзиной, обнюхал ее, ибо предполагал обнаружить в ней нечто съедобное.

— Ублюдок детоубийцы с улицы О-Фер!

Патер поворошил пальцем в корзине и открыл лицо спящего младенца.

— Он хорошо выглядит. Розовый и упитанный...

— Потому что он обожрал меня. Высосал до дна. Но теперь с этим покончено. Теперь можете кормить его сами козьим молоком, кашей, реповым соком. Он жрет все, этот ублюдок.

Патер Террье был человеком покладистым. По долгу службы он распоряжался монастырским благотворительным фондом, раздавал деньги бедным и неимущим. И он ожидал, что за это ему скажут спасибо и не будут обременять другими делами. Технические подробности были ему неприятны, ибо подробности всегда означали трудности, а трудности всегда нарушали его душевный покой, а этого он совершенно не выносил. Он сердился на себя за то, что вообще открыл ворота. Он желал, чтобы эта особа забрала свою корзину, и отправилась восвояси, и оставила его в покое со своими младенцами и проблемами. Он медленно выпрямился и втянул в себя сильный запах молока и свалявшейся овечьей шерсти, источаемый кормилицей. Запах был приятный.

— Я не понимаю, чего ты хочешь. Я действительно не понимаю, чего ты добиваешься. Я могу лишь представить себе, что этому младенцу отнюдь не повредит, если ты еще некоторое время покормишь его грудью.

— Ему не повредит, — отбрила Жанна, — а мне вредно. Я похудела на десять фунтов, хотя ела за троих. А чего ради? За три франка в неделю!

— Ах, понимаю, — сказал Террье чуть ли не с облегчением, — я в курсе дела: стало быть, речь опять о деньгах.

— Нет! — сказала кормилица.

— Не возражай! Речь всегда идет о деньгах. Если стучат в эти ворота, речь идет о деньгах. Иной раз я мечтаю, чтобы за дверью оказался человек, которому нужно что-то другое. Который, например, идучи мимо, захотел бы оставить здесь маленький знак внимания. Например, немного фруктов или несколько орехов. Мало ли по осени вещей, которые можно было бы занести, идучи мимо. Может быть, цветы. Пусть бы кто-нибудь просто заглянул и дружески сказал: «Бог в помощь, отец Террье, доброго вам здоровья!» Но, видно, до этого мне уже не дожить. Если стучат, значит нищий, а если не нищий, так торговец, а если не торговец, то ремесленник, и если он не попросит милостыню, значит предъявит счет. Нельзя на улицу выйти. Не успеешь пройти по улице и трех шагов, как тебя уж осаждают субъекты, которым вынь да положь деньги.

— Это не про меня, — сказала кормилица.

— Вот что я тебе скажу: ты не единственная кормилица в приходе. Есть сотни превосходных приемных матерей, которые только и мечтают

за три франка в месяц давать этому прелестному младенцу грудь, или кашу, или соки, или иное пропитание...

— Вот и отдайте его такой!

— ...но, с другой стороны, нехорошо так швыряться ребенком. Кто знает, пойдет ли ему на пользу другое молоко? Дитя, знаешь ли, привыкло к запаху твоей груди и к биению твоего сердца.

И он снова глубоко втянул в себя аромат теплого пара, который распространяла кормилица, но, заметив, что слова его не возымели действия, прибавил:

— А теперь бери ребенка и отправляйся домой. Я обсужу это дело с приором. Я попрошу его платить тебе в дальнейшем четыре франка в неделю.

— Нет, — сказала кормилица.

— Ну так и быть: пять!

— Нет.

— Так сколько же ты требуешь? — вскричал Террье. — Пять франков — это куча денег за такие пустяки, как кормление младенца!

— Я вообще не хочу никаких денег, — сказала кормилица. — Я не хочу держать ублюдка в своем доме.

— Но почему же, моя милая? — сказал Террье и снова поворошил пальцем в корзине. — Ведь дитя очаровательное. Такое розовое, не плачет, спит спокойно, и оно крещено.

— Он одержим дьяволом.

Террье быстро вытащил палец из корзины.

— Невозможно! Абсолютно невозможно, чтобы грудное дитя было одержимо дьяволом. Дитя не человек, но предчеловек и не обладает еще полностью сформированной душой. Следовательно, для дьявола оно не представляет интереса. Может, он уже говорит? Может, у него судороги? Может, он передвигает вещи в комнате? Может, от него исходит неприятный запах?

— От него вообще ничем не пахнет.

— Вот видишь! Вот оно, знамение. Будь он одержим дьяволом, от него бы воняло.

И чтобы успокоить кормилицу и продемонстрировать свою собственную смелость, Террье приподнял корзину и принялся.

— Ничего особенного, — сказал он, несколько раз втянув воздух носом, — действительно ничего особенного. Правда, мне кажется, что из пеленок чем-то пахнет. — И он протянул ей корзину, дабы она подтвердила его впечатление.

— Я не о том, — угрюмо возразила кормилица и отодвинула от себя корзину. — Я не о том, что в пеленках. Его грязные пеленки пахнут хорошо. Но сам он, сам ублюдок, не пахнет.

— Потому что он здоров, — вскричал Террье, — он здоров, вот и не пахнет! Пахнут только больные дети, это же всем известно. К примеру, если у ребенка оспа, он пахнет конским навозом,

а если скарлатина, то старыми яблоками, а чахоточный ребенок пахнет луком. Этот здоров — вот и все. Так зачем ему вонять? Разве твои собственные дети воняют?

— Нет, — сказала кормилица. — Мои дети пахнут так, как положено человеческим детям.

Террье осторожно поставил корзину обратно на землю, потому что почувствовал, как в нем нарастают первые приливы ярости из-за упрямства этой особы. Нельзя было исключить вероятности того, что в ходе дальнейшей дискуссии ему понадобятся обе руки для более свободной жестикуляции, и он не хотел тем самым причинить вред младенцу. Впрочем, для начала он крепко сцепил руки за спиной, выпятил свой острый живот по направлению к кормилице и строго спросил:

— Стало быть, ты утверждаешь, что тебе известно, как должно пахнуть дитя человеческое, каковое в то же время всегда — позволь тебе об этом напомнить, тем более что оно крещено, — есть дитя Божие?

— Да, — сказала кормилица.

— И ты утверждаешь далее, что если оно не пахнет так, как должно пахнуть, по твоему разумению — по разумению кормилицы Жанны Бюсси с улицы Сен-Дени, — то это дитя дьявола?

Он выпростал из-за спины левую руку и угрожающе сунул ей под нос указательный палец, согнутый, как вопросительный знак. Кормилица за-

думалась. Ей было не по нутру, что разговор вдруг перешел в плоскость теологического диспута, где она была обречена на поражение.

— Я вроде бы так не говорила, — отвечала она уклончиво. — При чем здесь дьявол или ни при чем, решайте сами, отец Террье, это не по моей части. Я знаю только одно: на меня этот младенец наводит ужас, потому что он не пахнет, как положено детям.

— Ага, — сказал удовлетворенно Террье и снова заложил руки за спину. — Значит, слова насчет дьявола мы берем обратно. Хорошо. А теперь будь так любезна растолковать мне: как пахнут грудные младенцы, если они пахнут так, как, по твоему мнению, им положено пахнуть? Ну-с?

— Они хорошо пахнут, — сказала кормилица.

— Что значит «хорошо»? — зарычал на нее Террье. — Мало ли что хорошо пахнет. Пучок лаванды хорошо пахнет. Мясо из супа хорошо пахнет. Аравийские сады хорошо пахнут. Я желаю знать, чем пахнут младенцы?

Кормилица медлила с ответом. Она, конечно, знала, как пахнут грудные младенцы, она знала это совершенно точно, через ее руки прошли дюжины малышей, она их кормила, выхаживала, укачивала, целовала... Она могла учуять их ночью, даже сейчас она явственно помнила носом этот младенческий запах. Но она еще никогда не обозначала его словами.